

Тайны человеческие

На окраине городка, в конце Работных рядов, стояла серенькая избенка Филимона Лузина, плотника и кузнеца, храброго мужика, мастера кулачного боя. Приулилась изба сбоку крутого яра, будто ласточкино гнездо под карнизом.

— Упадет, Филимон, изба-то! Упадет! — шутили соседи.

— Небось, не упадет! — отвечал Филимон.

На прошлой неделе был кулачный бой на площади. Бились казаки городские и казаки воеводского двора с пашенными мужиками да работными людьми. Сходились стенка на стенку, бились от восхода солнца до его заката. В том бою воеводский казак Никита Злобин выбил Филимону три зуба. Стал говорить Филимон с присвистом, будто ветер-сквозняк у него меж зубов гуляет. И прозвали с тех пор Филимона воеводские казаки свистуном. Затаил Филимон злобу. Вспомнились тяжкие старые обиды на воеводу. Дал себе Филимон зарок сжечь воеводский двор вместе с воеводой и его людишками.

Маланья, жена Филимона, худая, рослая женщина с усталым, бледным лицом и добрыми серыми глазами, ходила по избе, топая разбухшими сапогами; прогнившие половицы жалобно скрипели. Маланья возилась около большой, чуть не в пол-избы, русской печи, громыхала горшками, то и дело посматривая в угол, где в лохмотьях спала маленькая Палашка.

Филимон валялся на печи и не выходил даже во двор: стыдно на глаза людям показаться.

Пришел брат Филимона — Никанор.

Маланья окликнула мужа.

— Филимон, брат к тебе наведался.

Филимон спустился с печи.

— Что, скулу своротили? — спросил Никанор.

— Отойду, мне не впервой.

— То-то!

Тщедушный, седенький, с кудластой бородой, Никанор не был похож на брата — широкоплечего, плотного и жилистого мужика. Глазки у Никанора маленькие, шустрые да хитрые, как у зверюшки. Из-под густых бровей они выглядывали насмешливо и добродушно. Наоборот, узкие, раскосые глаза Филимона смотрели в упор, пронизывая насквозь человека. И не зря говорили про Филимона: «Глазищи у него — огонь, так и обжигают, человеку нутро выворачивают».

Филимон закашлял.

— Ого, да у тебя и нутро-то не в порядках! Пей, брат, траву трилистник — трава та болезни гонит.

— Пью, — сурово ответил Филимон. — Как не пить!

Никанор подсел к брату, приник к уху:

— Расея наша матушка в слезах и крови тонет. В леса народ бежит, в леса...

— Отчего так?

— Слух прошел, что великий наш государь вскипел гневом на народ и повелел рубить и правого и виноватого. Обагрилась вся Русь-матушка горячей людской кровью и задымилась в чаду пожарищ. А бояре, да царские наушники, да палачи от радостей места не найдут — говорят: «В страхе, мол, государь-батюшка народ свой держит, и то правильно делает: народу, мол, надо устрашение превеликое, а то людишки и друг друга побьют».

— А народ что?

— По слухам, народишко люто обиделся. Схватили озорные людишки топоры, колья да дреколья, а кто саблю острую, а кто и пицаль огневую, и пошли на государя, на бояр да на палачей государевых... А смиренные в темных лесах спрятались, живут в тишине...

— Замолчи, Никанор! — озлилась Маланья. — Вырвут язык твой окаанный, вырвут!

— Умолкаю, — опустил голову Никанор.

Маланья вышла.

Братья подошли к оконцу. Филимон вздохнул:

— Смотри, Никанор, каковы дали небесные и лесные — светлы да заманчивы. Есть ли им конец? Сосет и гложет сердце: что за теми синими далями, какие земли, какие царства? Может, счастье-то, брат, там? А? — Он показал рукой на восток, где сизая дымка тихо плыла над далекой тайгой.

Никанор печально покачал головой:

— Непоседлив ты, брат, все бы искал да искал незнаемое, все бы шел и шел куда-то... Кто же тебя гонит? Живи в тишости...

— Кто гонит? Глупые твои речи! Может, в темной тайге, за теми грозными горами, — и золото, и серебро, и каменья-самоцветы! Греби лопатой...

— Мудры слова предков: золото ходит горбато. Печалиться надо о землях, что хлебушко роят, о пашнях-кормилицах. Народишко-то пухнет от голода, а ты о золоте... Смирно надо сидеть, в лесах укрыться и жить на мирной земле, не бегать, не рыскать. Зверь — и тот свое логово имеет...

Филимон рассмеялся:

— Похвально ли, Никанор, человеку в своем логове сидеть, света белого не видеть! Птица — и та счастливее: в небесах парит, пути дальние перед ней открыты...

— Земля — наша мать, человек без нее — дитя глупое... Живи, брат, в тишости...

Опустил голову Филимон, задумался, потом гордо выпрямился, глаза его за сверкали:

— В тишости, говоришь, жить, в лесах хорониться зайцами? Неладно это, не по моему нраву. Рвется сердце на волю-волюшку!

— Уйми сердце, брат, не терзай... — Никанор опять наклонился к уху Филимона: — Могу поведать тебе тайну. Но смотри, браток, смотри: говорю только тебе, иных страшенно боюсь.

— Говори, брата родного не страшись!

— Мне один писец-пропойца тайны человеческие рассказывал. Велики те тайны, и не нашему уму-разуму те тайны понять.

— Говори!

— Читал тот писец-пропойца черную книгу, а писал ту черную книгу беглый человек ума превеликого и писал тайно, крадучись. Земля-то наша матушка, по той черной книге, на китах не стоит...

— Не стоит?..

— Не стоит, а кругла-де она, велика и находится в вечном кружении, плавая в небесах, как рыба преогромная в море-океане плавает и не тонет...

— Диковинно мне это, брат, но опять же умом своим я разумею так: от этого земного кружения, видимо, и на земле все скружилось и перепуталось. И одним богатство валится, как из преогромной бочки, другие же в трудах маются и, животно поджав, лохмотьями землю метут...

— По той черной книге, Земли кружениеечно, и удержать его не можно.

— А бог?

— По той черной книге, о божестве слов нет, и место ему не найдено.

— Да ты в уме?

Оба задумались.

— Смотри, Никанор, — свирепо сдвинул брови Филимон, — царя сквернишь —

то можно, бояр-мучителей да воевод с палачами ругаешь — то можно, то мне по душе, а вот бога не тронь!

Никанор хорошо знал нрав своего брата, испугался:

— Бога... не шевелю, да и как его пошевелишь, ведь он бог! От злых людей надобно хорониться, а богу воздавать должное, жить смиренно, праведно...

Братья покосились на маленькую иконку, что висела в углу, засиженном сплошь мухами, и размашисто перекрестились.

За дверями послышался шум. Братья оглянулись. Маланья, открыв дверь, тащила за руку Артамошку. Мальчишка пятился, не хотел идти. Вихрастая голова его была взлохмачена, лицо в крови. Большие отцовские сапоги и длинная, не по росту, казацкая кацавейка густо вымазаны в грязи. Артамошка упирался, но мать, крепко вцепившись, тащила его через порог.

Филимон гаркнул на всю избу:

— Обмой бродягу, я его поучать стану!

Мать смыла с лица Артамошки грязь. Остатками гусяного сала смазала распухший нос, толкнула к отцу.

— Кто? — спросил отец.

— Селивановы ребятишки.

— Оба?

— Оба!

— За что?

Мальчик молчал.

— Говори! — не унимался отец, зная, что сын что-то скрывает.

Артамошка раскраснелся и зашлепал вспухшими губами:

— Селивановы Гришка да Петрован проходу не дают, орут принародно: «Твоему отцу зубы вышибли. Теперь ты, Артамошка, не Лузинов сын, а Свистунов». А меньшей, Гришка, на одной ноге скакаючи, лопочет:

*Артамошка,
Артамошка, оглянись!
Твой отец разбойник...*

Артамошка не договорил, заплакал.

— Сопляк! — стукнул Филимон кулаком по столу и так топнул ногой, что полетел с полки горшок и рассыпался мелкими черепками. — Давно селивановские на рожон лезут! — крикнул он и схватился за топор.

Никанор пытался удержать его:

— Не казни сердце, не горячи кровь! Селивановы — купцы, хоть и мелки, но на виду у самого воеводы, тягаться с ними нам не в силах... Засекут, ей-бо, на площади засекут воеводские палачи!

Маланья вцепилась в Филимона — не пускала из избы.

Филимон бросил топор, потряс кулаками в воздухе и бессильно опустился на землю. Артамошка шмыгнул на печку и притих. Потрогав распухший нос, прошептал:

— Гришку на кулаки вызову, с Петрованом силой померяюсь! В одиночку-то они трусоваты.

На печи он согрелся и сладко задремал. Сквозь полусон услышал стук. Выбжав из избы, Артамошка увидел отца за работой. У потухшего горна на обожженном бревне в ряд лежали свежеотточенные ножи. Артамошка сосчитал девять штук. Отец тесал топором, заготавливал к ним березовые рукоятки. Не утерпел Артамошка, схватил один ножик. Остер, лезвие как жар горит!

— Не тронь! — прикрикнул Филимон. — Я тебе, озорник!

Артамошка заметил, что у отца густые брови сошлись до самой переносицы. «Зол отец... Лют и зол, — подумал Артамошка. — Быть беде». Он положил ножик и ушел от отца обиженный. Потом опять забрался на печь, даже ужинать не стал.

Он слышал, как отец, вернувшись в избу, говорил:

— Побью!.. Погромлю!..

— Не надо, Филимон, — упрашивала, всхлипывая, мать. — Воеводские наушники прознали про твои угрозы, не сносить головы... Бежать тебе надо, спастись.

— А ты?

— Что я! — вздохнула мать. — Мне одна судьба — маяться, обиды сносить.

— Долго ли сносить обиды воеводских мучителей! — не унимался отец.

«Драка! — обрадовался Артамошка. — Селивановых, наверно, отец лупить будет. Вот потеха!..»

— Сожгу! — грозился отец.

— Побойся бога, не надо! — уговаривала мать.